

ОЛЬГА НЕБЕЛИЦКАЯ

Не хватит на двоих

Забрать бабушку умирать к себе в квартиру было ошибкой, и Нана начала это понимать.

Бабушка была двоюродной сестрой Наниной родной бабушки, которая в девяностые эмигрировала в Израиль и там же благополучно скончалась спустя двадцать лет. Пока бабушка была на ногах и в разуме, Нана старалась лишней раз с ней не встречаться, но по мере того, как бабушкин организм слабел и снашивался, Нане приходилось навещать её всё чаще, помогать по хозяйству и в итоге, на финишной прямой жизни, взять на себя полную ответственность за бабушкино существование.

Бабушка ела людей.

Она обгладывала души, смаковала косточки и клубки нервов, сплёвывала куски кожи, ногти и волосы, смачно рыгала и какое-то время после этого чувствовала себя удовлетворённой.

Не в буквальном смысле, конечно. Но Нана с пяти лет — с тех пор как её впервые привезли в проклятое Куприно — понимала, что бабушка питается людьми. Для того чтобы ей самой хватало жизненной силы, необходимо потрошить каждого, кто попадает в поле её зрения.

Бабушка говорила человеку ровно то, отчего его нутро взвивалось, пробивало потолок шестого этажа и уходило в небесную высь. Она лупила по цели как снайпер.

Нана, которую в пять лет привезли в гости, «потому что бабушка приболела, её нужно навестить», заревела в голос от страха, когда бабушка наклонилась и, глядя куда-то в сторону, ровным голосом сообщила, что ублюдская тонкая коса делает её похожей на плешивую козу.

Мама ничего не слышала, мама улыбалась дурацкой улыбкой, вскакивала, чтобы нарезать пирог («Чёрствый и слишком приторный», — прокомментировала бабушка) и заварить чай («Куда заварку, дура, сыпалась, будто сама заработала и купила!»).

Нана почувствовала, что её предали.

Когда она заплакала: «Мама, пожалуйста, давай уйдём», мама вцепилась ей пощёчину. Бабка смотрела на них без выражения. Но Нане показалось, что она слотнула, будто что-то невидимое по воздуху перенеслось от рыдающей пятилетней девочки к старухе с бульдожьим лицом. Слотнула и помолодела.

Нана поняла, что её привезли на заклятие и защищать не будут.

Когда она подросла, мама объяснила ей, что теперь она сама должна ездить в Куприно навещать бабушку, потому что это долг. Это долг, говорила мама, отводя взгляд, это долг, говорила мама, нервно пакуя чемоданы, это твой долг, говорила мама, улетаая в Красноярск с новым мужем к его — теперь своим — новым детям.

Это долг, сочувствовал Рома, когда взбешённая Нана приезжала после очередного визита к бабке, падала на пороге, протягивая ему окровавленные обрубки рук, разбитый надвое череп, предъявляла вскрытую грудную клетку, обглоданное сердце и вполовину удалённые лёгкие.

Не в буквальном смысле, конечно. Просто она себя чувствовала именно так после каждой поездки в Куприно.

Теперь бабка умирала в соседней комнате.

Бабка умирала уже четвёртый месяц, и четвёртый месяц Нана не могла дышать.

В буквальном смысле.

Что-то изменилось в их квартире, в которой они душа в душу жили уже третий год. Квартира смотрела окнами на парк, обе комнаты — на одну сторону. Летом вентиляционных возможностей квартиры едва хватало на то, чтобы справиться с духотой. В остальное время — особенно когда дул восточный ветер — в квартире было свежо. Нана любила сквозняки и ветер.

Воздух закончился с переездом бабки.

Сначала Нане казалось, что это нервное. Она стала хуже спать ночами, начала просыпаться от ощущения, будто её кто-то душит.

Нана пробовала пить успокоительные. Сон вроде бы становился глубже, но в этом таилась опасность: Нана начала бояться, что не проснётся. Она проваливалась в чёрную липкую пропасть, а воздуха с каждым днём становилось всё меньше.

Сначала Нана чувствовала это только по ночам, когда просыпалась с бьющимся сердцем, мокрая от пота. В полусне-полубреду ей почему-то

виделись ленинградские пышки. Круглые, жирные, горячие, присыпанные сахарной пудрой. Чья-то рука метала горячие комки в раскалённое масло, и Нана была внутри пузырька дрожжевого теста, со всех сторон окружённого обжигающей массой. Она раздвигала руками эту массу, пыталась прорвать плотную стенку, но всё было бесполезно. Нана таращила глаза, открывала рот, двигала руками и ногами, но не чувствовала тела. Вокруг была только горячая темнота.

Пробуждение не приносило облегчения, оно лишь напоминало переход с одного уровня сна на другой, как бывает, когда кошмары вложены один в другой, подобно куклам в матрёшке. Нана слушала мерное Ромино дыхание рядом. В первые недели она будила его, плакала, кричала — шёпотом, дабы не потревожить бабу, — чтобы он сделал хоть что-то. Пусть купит вентилятор. Пусть купит второй вентилятор, когда первый не принёс облегчения. Пусть установит кондиционер. Пусть прорубит ещё одно отверстие в стене, да, прямо сейчас, да, топором, почему нет? Пусть этим самым топором зарубит старую суку, которая там, за стеной, не спит, а ест, ест воздух и жизненные силы.

Рома осунулся, похудел, взял сверхурочные, купил три вентилятора, договорился с хозяином квартиры об установке кондиционера. Он гладил Нану по волосам, по рукам, умывал её ледяной водой, заваривал какие-то китайские чаи.

Ничто не помогало.

Бабу умирала, но умирать не торопилась.

Нана, которая работала фельдшером сутки через трое и была вынуждена находиться дома в остальные дни, начала задыхаться не только по ночам.

Она заходила в прихожую — небольшой закуток без окон, спроектированный хитрым «аппендиксом», и у неё темнело в глазах, пока она снимала обувь. Она опиралась о стену, чтобы переждать, пока на чёрном фоне перестанут мелькать яркие мушки. Потом на подгибающихся ногах шла на кухню, открывала окно настежь, невзирая на погоду, высывалась в него чуть ли не по пояс и пыталась втянуть в себя весь воздух с улицы. Но стоило отойти от окна, и перед глазами снова темнело.

Бабу смотрела на Нану не мигая.

Иногда Нане казалось, что зрачки у бабу меняют форму, становятся вертикальными, как у рептилии. Бабу напоминала ядовитую тварь,

которая уже куснула жертву, а теперь ждёт, когда можно будет сожрать ещё тёплое, но уже неподвижное тело.

Денег едва хватало на оплату квартиры, еду, памперсы, салфетки и лекарства. В дни её дежурств сердобольная соседка — пампушка неопределённого возраста с симпатичным ёжиком на голове и тремя серёжками в левом ухе — навещала бабу, кормила её и пару раз меняла памперс. Нана искала в пампушкином лице следы нехватки кислорода, усталости или хотя бы раздражения, но соседка оставалась розовощёкой и безжалостно улыбчивой.

Очевидно, бабке она была не по вкусу.

Однажды ночью Нана встала и пошла в кладовку, чтобы проверить, на месте ли топор.

У топора была деревянная ручка с красным ободком и острое, хотя и чуть тронутое ржавчиной лезвие.

Лёжа без сна, Нана представляла, как замахивается и рубит стену в щепки, чтобы дать воздуху возможность пройти насквозь. Нана рисовала в воображении фантазмагорические картины: вихрь выметает из квартиры не только застоявшийся воздух, но и кровать с бабкой. В Канзас, к чёрту на куличики, на Луну — куда угодно, лишь бы подальше отсюда.

Нана шла в кладовку, трогала топор и сжимала рукоятку в потной ладони.

Нана начала ходить в кладовку каждую ночь.

Конечно, кровь была всюду — а чего она ждала?

На кровати, вполовину разрубленной, на подушке — вперемешку с пухом, прядями седых волос, на полу — коврик наполовину пропитался кровью, неровными рядами брызг на стенах.

Воздуха не стало больше, нет.

Отверстие в стене — как топор прорубил кирпич, оставалось загадкой, — с лохмотьями обоев по краям вело в общий коридор десятого этажа. К чёрному, неподвижному и горячему воздуху квартиры прибавился липкий металлический запах, воздух звенел от напряжения, каждый шаг давался с невыразимым трудом, будто идёшь сквозь горячий кисель.

Мёртвая бабка молчала. Нана стояла, прижавшись к стене. Топор выпал из рук.

Было на удивление тихо.

Нана ждала, что на лестничной клетке откроются двери. Потом раздастся визг. Интересно, как визжит эта круглолицая с ёжиком? Через некоторое время зазвучит вой сирен, в квартиру сбегутся чужие люди, Нану милосердно скрутят, выведут и увезут туда, где наконец будет воздух.

Нана ждала.

Ничего не происходило.

Почему не проснулся Рома?

Нана несмело взглянула на отверстие в стене. Лохмотья обоев не шевелились. Ни дуновения, ни звука. Ничего.

Нана пошла в спальню. Она чувствовала, как наступила ногой в тапочке во что-то липкое. Она разносит по квартире бабкину кровь, полную желчи и яда. Скоро весь дом зашелестит и оседет, схлопнется, как карточный домик. Процесс коррозии необратим, этот яд прожигает линолеум, проникает в каждый кирпич, в каждый атом.

Нана — шлёп-шлёп — дошла до кровати и остановилась. В тусклом свете фонаря с улицы она увидела свёрнутое одеяло и смятую подушку. Одну подушку и одно одеяло. Но они всегда спят под разными одеялами. У неё обычная подушка, а у Ромы — модная ортопедическая, потому что у него хондроз. Сейчас она видела на кровати только свою подушку.

Нана пошла на кухню, затем — в ванную и туалет. Ромы нигде не было.

Тишину по-прежнему не нарушал ни единый звук: ни хлопок открывающейся или закрывающейся двери, ни соседские шаги, ни крики, ни сирены скорой или полиции.

Влажная, горячая темнота, сквозь которую время от времени пролетали сияющие мушки. Нана провела перед собой рукой. Не поймала. Ещё раз. Что происходит?

Нана вернулась в спальню и открыла створки шкафа с Роминой одеждой. Вечером она сама вешала туда свежевыглаженные рубашки и отпаренный пиджак: утром у Ромы важное совещание.

Шкаф был пуст.

На Нану тарасились пустые полки и пустая перекладина, на которой жались друг к другу деревянные вешалки. Нана зачем-то сняла одну из вешалок и внимательно её осмотрела. Повесила на место.

Нана ходила по квартире кругами.

Бабкина комната: залитый кровью пол, отверстие в стене, лежащая на полу стойка капельницы. Коридор: прямоугольники картин на стенах, «аппендикс» прихожей. Роминых ботинок и Роминого кашемирового пальто нет, как нет и его шапки, перчаток и зонта-трости. Ванная комната: одна зубная щётка в стеклянном стакане, выдавленный почти досуха тюбик пасты «Жемчуг», оранжевое махровое полотенце. Кухня: раковина, заваленная грязной посудой. Кружка с остатками чая на столе.

Но ведь она варила накануне борщ! Нана в панике оглянулась на плиту. Пусто. Где же огромная эмалированная кастрюля с борщом? Та самая, которую Рома купил, когда они сюда переехали? Роме хотелось именно такую — на пять литров, с алыми маками на белых округлых боках.

Где она?

Нана посмотрела влево, вправо, зачем-то вверх. Лампочка, не оформленная в плафон, тоскливо взирала на неё с чёрного шнура.

«Это сон, — с облегчением подумала она, — это просто кошмарный сон».

Нана посмотрела вниз. Ноги в окровавленных тапочках оставляли за собой следы. Повсюду следы.

«Это сон», — упрямо подумала Нана.

— Почему я должна там быть? — спрашивала маму шестилетняя Нана.

— Потому что мне не с кем тебя оставить до завтра. — Мама не смотрела на Нану, мама смотрела в лицо метели, сквозь которую тащила Нану почти волоком.

Снег падал на брови, на глаза, на щёки и губы, снега было так много, что он почти залеплял лицо. Дышать становилось всё тяжелее. Нана не прикладывала усилий, чтобы идти: мама таранила снежную стену, и её железная рука вела Нану за собой.

— Я могла бы побыть дома одна. — Нана открыла рот, чтобы добавить, что она справится, чтобы пообещать, что она будет себя хорошо вести, что она даже приготовит себе макароны и погрееет котлеты, она умеет. Но метель бросила ей в лицо щедрую пригоршню снега. Нана задохнулась и ослепла.

Бабка не смотрела Нане в глаза, она всегда смотрела немного мимо. Бабка кривила губы, её обвисшие щёки превращали лицо в лицо судьи, выносящего — всегда обвинительный — приговор. Бабка не обращалась к Нане напрямую.

Мама уехала. Мама всегда уезжала.

Нана сама стелила простынь на диване в маленькой комнате, сама себя развлекала, сама играла на ковре с фарфоровыми статуэтками из серванта. Ночью ей снились кошмары.

— Мама, а как зовут бабушку? — Нане было девять, и мама вела её за руку сквозь метель. В этот раз маме нужно было уехать на три дня, и в ранце у Наны лежали учебники по всем предметам.

Заминка. Мама споткнулась:

— Дана. Дана Львовна.

Нана опустила лицо в шарф и насупилась. Мамина железная рука тащила её вперёд, и можно было не заботиться о том, как и куда шагать. Ей было неприятно, что в бабкином имени и её, которым она так гордилась, есть созвучные сочетания букв.

«Это сон», — повторила Нана и проснулась.

Она лежала в кровати. Она рывком села и попыталась вдохнуть. В комнате было темно, но перед глазами потемнело ещё больше, и понеслись — вихрем закружились — яркие мушки.

«Как снег, — отстранённо подумала Нана, — как снег во время метели».

Она почувствовала, что чья-то стальная рука тащит её вперёд. Как в детстве, как всю жизнь.

Она снова попыталась вдохнуть.

Мокрые пряди волос прилипли ко лбу. Воздуха не было. Глаза чуть привыкли к темноте. Тюлевые занавески напоминали гофрированную жёсть — ровные ряды складок от потолка до пола. Рома лежал рядом. Нана наклонилась к нему поближе и глубоко втянула в себя воздух возле Роминого лица. Его дыхание пахло мятой и чабрецом.

...И что над нами километры воды,
и что над нами бьют хвостами киты,
и кислорода не хватит на двоих...

Когда-то она любила эту песню, как и другие песни «Наутилуса». Нане и в голову не приходило, что однажды ей действительно будет не хватать кислорода. Что она будет чувствовать себя так, будто погребена в батискафе на дне океана и над ней — километры воды. С китами.

Нана встала с кровати и пошла в кладовку.

Лезвие топора было холодным, почти ледяным, будто он хранился в холодильнике. Нана потрогала пальцем металл.

Бабка храпела. Её отвратительное тело: сухое, бледное, завалившееся на один бок, — каждое утро Нана боялась (и ждала), что найдёт бабку на полу у кровати, — издавало нечеловеческие звуки. Нана наклонилась к кровати, держа в руках топор. От бабки пахло мёртвыми насекомыми, корвалолом и мочой.

Нана оглянулась на стену.

За этой стеной — выход. Нужно всего лишь прорубить отверстие, и перед глазами перестанут мелькать клятые мушки, метель прекратится раз и навсегда, мокрые волосы перестанут липнуть ко лбу, в лицо подует свежий ветер. Надо только поднять топор и ударить.

Раз. Два. Ещё.

Покосившаяся бабкина кровать, стойка капельницы на полу, забрызганная кровью, коврик, наполовину пропитанный тёмной жидкостью, пряди седых волос на подушке и на лезвии — вот чёрт, к лезвию прилип целый клочок волос.

Почему лезвие в крови? Она ведь рубила стену. Нана выронила топор и побежала в спальню. «Шлёп-шлёп», — ноги прилипали к полу.

Рома в кровати не было. Одно одеяло, почти закрученное в толстый жгут, одна смятая подушка, смятая простыня. Всё выглядело так, будто тот, кто спал в этой кровати, метался в горячечном бреду, потом вскочил и убежал.

Она. Это она убежала.

Нана села на пол и прижала руки к лицу.

Руки были липкими и пахли металлом.

— У Даны Львовны, — бесцветно говорила мама, — тяжёлая судьба. Три старшие сестры не пережили блокаду. Мать умерла последней. Отец не вернулся с фронта. Девочку спасли, вывезли по Дороге жизни. Откормили. Она на всю жизнь осталась инвалидом — повреждения суставов после остеомиелита, слабые лёгкие после туберкулёза. Вышла замуж, родила сына. Муж-строитель через два года погиб на стройке. Сын умер в три годика: тяжёлый грипп с осложнениями.

Нана шагала вперёд, не чувствуя маминой руки.

Раз-два. Метель расступалась клином. Вокруг них с матерью будто образовалось пустое пространство и какой-то невидимый кокон прикрыл их от окружающего мира.

— У неё никого нет. — Мать продолжала смотреть вперёд. — Никого. Вообще. Я не хочу к ней приходить. Никто не хочет. И ты не хочешь. — Она оглянулась на Нану. — Старая сука не может любить. Ей нечем. Но знаешь что?

— Что? — Нана не думала, что мама её услышит. Но она услышала.

— Я не верила в Бога. Но начинаю думать, что если бы Он был, то был бы единственным, кто может её любить. И дать ей то, чем она могла бы любить других. Потому что раньше у неё это было. Мы с тобой этого не застали. Но оно было. Поэтому... — мама сжала руку Наны, и метель, будто по сигналу, обрушилась на них с новой силой, — поэтому, когда ты будешь её ненавидеть — а я знаю, что будешь, — даже если не веришь в Бога, проси, чтобы Он её любил. Потому что должен же её любить хоть кто-то.

Нана отняла руки от лица.

Руки были липкими и пахли металлом.

Пол был липким. Она видела тёмные следы, которые оставила, когда вбежала в спальню.

Нана снова попыталась глубоко вдохнуть.

...И что над нами километры воды...

«Это кошмарный сон», — подумала она.

И проснулась.

Она лежала в кровати. Простыня была смята, будто она металась в горячечном бреду. Рома мерно дышал рядом. Нана села рывком, перед глазами снова полетели мушки, вихрь накрыл её, будто она находилась в сердце метели. Занавески из гофрированной жести перекрывали путь воздуху.

Синоптики обещали, что июнь будет прохладным. Он и был прохладным — где-то за пределами этой квартиры, из которой бездушная тварь с рептильными глазами выкачивала кислород.

Нана пошла в кладовку. Но, положив руку на ручку двери, развернулась и решила сначала проверить, как бабка.

Бабка храпела. Её тонкое тело: сухое, бледное, завалившееся на один бок, — каждое утро Нана боялась (и ждала), что найдёт бабку на полу у кровати, — издавало странные звуки.

Нана наклонилась к кровати. От бабки пахло сухими растениями, корвалолом и почему-то корицей.

Нана выпрямилась. От усилия перед глазами моментально потемнело и снова замелькали проклятые мушки.

«Проси, чтобы Он её любил», — сказал чей-то голос по ту сторону метели.

Нана скривилась. Она бросила взгляд на стену, затем снова посмотрела на бабку. Тонкая, сухая рука лежала поверх одеяла, и вены на этой руке напоминали ветвящиеся побеги.

Бабка никогда не смотрела ей в глаза, всегда смотрела мимо и слегка вбок.

Бабка никогда не улыбалась.

Но иногда она пекла рогалики с вареньем.

Она называла их ругелах. Это были простые рогалики из песочного теста: из муки, сахара, дешёвого маргарина, творога и джема.

Морщинистые руки ловко раскатывали тесто — Нане не позволялось помогать, — вырезали и скручивали тесто, намазывали джем и отправляли противень в духовку. Пахло корицей.

Потом бабка вынимала рогалики, перекладывала их на большое блюдо и оставляла остывать. Нана знала, что через полчаса бабка скажет как бы в воздух за её правым плечом:

— Ругелах.

Это звучало как ругательство. Но теперь можно было заварить чай — только ни в коем случае не класть столько заварки, сколько они с мамой кладут в чайник у себя дома. Лучше она потерпит чай цвета мочи, чем бабка расскажет воздуху за её плечом о её расточительности.

Рогалики таяли во рту.

Нана пошла на кухню. Зажгла свет. Убрала в холодильник кастрюлю с борщом, который сварила с вечера и оставила остывать на плите.

Достала сливочное масло, яйца, сахар, муку, творог. Варенье. Скалку.

Она вытерла пот со лба. Вдохнула полной грудью. Перед глазами мелькнула мушка — всего одна. Голова почти не кружилась. Нана подошла к окну.

Окно было распахнуто, как всегда. Ветер не доносил до десятого этажа запахов сирени и мокрой травы, но занавески колыхались. В кухне чуть посвежело.

Когда она принесла поднос к бабкиной кровати, та дремала и чуть присвистывала во сне. Ноздри раздувались, бульдожьки щёки двигались.

«Люби её, — подумала Нана, — люби, потому что я не могу».

Бабка принюхалась, не открывая глаза. Её дыхание на миг прервалось, и Нана подумала, что бабка умерла во сне прямо при ней. Но через мгновение бабка распахнула глаза и посмотрела на поднос с чашками и рогаликами. Она смотрела на блюдо долгим рептильным взглядом, её зрачки то сужались, то расширялись. А потом она перевела взгляд на Нану и посмотрела той прямо в глаза. Не в воздух за её плечом, не за спину, не куда-то в сторону, а прямо в глаза. От её губ вправо и влево пролегли две глубокие складки. Нана испугалась, что бабку хватил инсульт и перекошенное лицо — результат кровоизлияния в головной мозг.

Но потом она поняла: бабка пыталась улыбнуться.

В комнате стало так свежо, что Нана прикрыла окно, чтобы бабку не просквозило. Занавески исполняли странный танец. Бабка опускала

рогалик в чай и ждала, пока он размокнет. До конца жизни она не произнесла ни слова.

Бабка умерла через четыре дня.

На похоронах Нана плакала.

Соль кончилась

Нужно всё-таки купить соль.

Нужно сходить в магазин или заказать в доставке. Почему я всё время забываю положить соль в корзину, когда собираю заказ? Я надеваю кроссовки: левая порвалась у большого пальца, надо купить новые кроссовки. Нет, сейчас я иду за солью, прежде всего надо помнить об этом.

Но вот я уже у воды, на каменных ступеньках, а потом подхожу к огромному белому зданию с синими трубами. Опять не понимаю, почему я здесь и как сюда пришла. Самое странное — что я прохожу внутрь, а ведь для этого нужно показать охраннику билет. Билет бесплатный, но, чтобы его оформить на сайте, необходимо было потратить время и силы. Охранник сканирует код, прибор в его руке благодушно пищит — значит, я действительно забронировала слот под посещение.

Но ведь я шла покупать соль.

Почему я здесь?

Почему я хожу по воздушным коридорам и лестницам, смотрю на игру света и тени, спускаюсь, поднимаюсь и снова спускаюсь, чтобы выйти на зелёную лужайку? Свет сдвинулся на сколько-то метров — значит, я здесь давно. Я не смотрю на часы — только на то, как белое кружево играет с солнечным светом: то ловит его, то выпускает. Кошки-мышки. Звучит какая-то музыка, человеческие голоса гудят, кто-то смеётся. Мне нужна соль, но в магазинчиках здесь только книги и сувениры.

Мы приходили сюда зимой — помнишь, когда снаружи было темно и мокро? Сейчас, кажется, лето. На берёзках в роще за зданием много жёлтых листьев. Наверное, всё же время ближе к осени. Или к вечеру. Мне сложно понимать временные конструкции, мне проще понимать то,

что я могу потрогать. Я уже пару дней не могу потрогать ни крупинки соли: я трясла, трясла солонку, но сегодня пришлось есть яичницу пресной. Вчера я ещё выкрутила несколько крупинок из мельницы.

Мельницей обычно пользовался ты, а я больше люблю простую солонку с мелкой солью. У тебя — розовая гималайская, у меня — какая-то обычная. Но когда она почти закончилась, я взяла в руки твою деревянную мельницу. Соли в ней хватило ещё на несколько дней. А потом пришлось идти в магазин. И вот я опять брожу по кружевным переходам и лестницам, сажусь перед шахматной доской и некоторое время смотрю на фигуры на доске. Никто не делает первый ход. Я жду, но ничего не происходит. Тогда я встаю и иду вниз, но там снова только книги и сувениры.

Мы приходили сюда зимой, вваливались из темноты и грязи, хотали, показывая охраннику смартфоны с билетами, падали в кресла и хором говорили официантке: «Эспрессо, латте и круассан». Мы ели круассан пополам и смеялись, глядя на лица вокруг. Нам всё было смешно и понятно, мир был податливый на ощупь, в нём были вторники и воскресенья, чёрный горький кофе и сладкий латте, гималайская розовая соль и дешёвая морская, дни и ночи. Такой огромный, похожий на медведя ты. Маленькая я. Ты мог обхватить меня за талию одной рукой; когда-то ты шутил, что, когда мы начнём делать детей, дети будут почковаться по очереди: большой чёрный и маленький белый. «А что, если большой и медведеобразной родится девочка?» — смеялась я. «Такова её карма», — смеялся ты, а потом у нас родится Васька, и у Васьки будет тонкая переносица и невыносимо белые волосы.

Мы собирались делать детей, много детей. Мир был таким простым и понятным. У нас дома всегда была соль, потому что раз в неделю ты покупал продукты; ты никогда не забывал про соль, перец, кокосовый сахар и панировочные сухари. Сухари нужны, чтобы я могла сделать твою любимую свинину в панировке, кокосовый сахар нужен мне для карамельного привкуса панна-котты, а соль нужна всем, потому что без соли всё теряет вкус и смысл.

Мы приходили сюда в январе, когда нам щипало носы. Нет, нос щипало только мне, ты всегда говорил, что не чувствуешь мороза. Ты смеялся надо мной, целовал в холодный нос, старался согреть его губами, а я говорила: «Зачем останавливаться? Давай скорее дойдём, там

отогреемся». Мы играли в шахматы и гадали, как будут ложиться тени весной и летом, какие будут новые выставки, как зазвучит воздух, прогретый солнечными лучами.

Наверное, сейчас август. Да. Нет. Не знаю. Мне всякий раз сложно найти отсюда выход. Я сижу за столиком, пока тени не становятся совсем длинными. Нужно домой. Но дома кончилась соль, уже совсем кончилась.

Мы почему-то полюбили это место, хотя ты говорил, что здесь собираются только хипстеры, только московская молодёжь. «А мы, что ли, не молодёжь?» — возмущалась я. «Ну какая из тебя молодёжь?» — смеялся ты.

Мы обсуждали, как делать детей, и смеялись так, как будто нам по двадцать.

Мы вели себя как счастливые придурки в день свадьбы.

В общем, все пятьдесят восемь лет мы вели себя как счастливые придурки в день свадьбы.

Оказалось, что при реконструкции ГЭС нашли капсулу с посланием из шестьдесят четвёртого. Помнишь, как мы радовались, что в год нашей свадьбы кто-то додумался отправить в будущее послание? «В этом здании в 1964 году была создана первая в мире магнитогидродинамическая установка, положившая начало новому методу получения электричества путём прямого преобразования тепловой энергии». «Ни слова не понимаю», — сердился ты.

Я ведь могу попросить Машку купить для меня соль. Машка должна приехать вечером. Четверо детей и тринадцать внуков по всему миру — мы с тобой такие богатые, это был наш метод преобразования тепловой энергии: мы преобразовывали всё, что имели, в любовь и детей. Мы делали детей — столько, сколько успели, а когда перестали успевать, смотрели, как наши дети делают новых детей. Преобразование одной энергии в другую. Преобразование всего, что попадает под руку, в любовь. Почему мы так полюбили это белое здание с нелепыми синими трубами? Потому что всё есть любовь. Москва есть любовь, мы прожили с ней рука об руку всю жизнь, обе наши жизни, вот тут, на улочках, на набережных. Мы всё время видим, как она меняется. Ты совсем седой, а у меня коса не седеет, потому что она абсолютно белая, и так белая, всегда такой была.

Ты просто уснул и не проснулся. Когда? Соль ещё точно была, я помню, потому что накануне мы ужинали, и ты крутил свою дурацкую мельницу над салатом, а я солила бульон. Преобразование одной энергии в другую. В какую? Я не знаю, знаю только, что в солонке кончалась соль, кончалась и наконец кончилась. Я хочу домой. Кажется, темнеет. Шахматы на доске отбрасывают совсем длинные тени.

Мы приходили сюда зимой, такие смешные. Огромный седой старикан и сухонькая старушенция с белой косой. Охранник смотрел нам вслед и улыбался. Официантка приносила наш круассан, а однажды, помнишь, она спросила: «Можно я угощу вас кофе за свой счёт?» Такая милая девчонка, ты ещё потрепал её по руке, а она смутилась и сказала: «Мне просто нравится видеть, какие вы».

Какие мы? Ну, не знаю. Обычные. Мы просто любим наблюдать, как живое становится ещё более живым. Вот Москва, она живая и живёт. Старые здания перестраивают, новые здания строят, нам с тобой всё это так нравится.

Нам с тобой здесь нравилось.

Мы приходили сюда зимой и весной, а теперь ты не проснулся, у нас кончилась соль, и я уже второй или третий раз прихожу сюда, хотя собираюсь в магазин. Машка звонила, она приедет сегодня, и она сказала, что Стас тоже собирается. Василий прилетит, ему из Перми недолго, а вот Коленька не может быстро добраться из Копенгагена, сейчас с перелётами сложно.

Помнишь, был такой смешной анекдот про «передать соль». Там мужик умер и не знал, в чём было его предназначение, и оказалось, что смысл его жизни был в том, что он когда-то кому-то в поезде вовремя передал соль.

Ты мне передал всю соль этого мира. Тебе не надо волноваться о том, что ты прожил жизнь впустую. И мне не надо волноваться, что соль кончилась на самом деле, потому что она не кончится никогда: Машка уже едет, я точно знаю. А то, что я сегодня опять не дошла до магазина и вместо этого пришла сюда... ну что же, сыграем.

Маленькая старушка двигает на доске шахматные фигуры.

Свет падает через белое кружево металлических перекрытий, две официантки шепчутся за стойкой кафе. Тени удлиняются.

На Москву ложится августовский вечер.